

Елена Глебова

Слепая лошадь

*Маленькой моей Настеньке,
девочке моей, посвящается*

Часть 1. Возвращение в отчий дом

Скалистая часть гор плавно переходила в светлый сосновый бор, пронизанный ласковым солнечным светом. Тёплый солнечный свет проникал везде: он струился по огромным покатым валунам, по мягкому светло-зелёному мху, усеянному сосновыми шишками, по стройным стволам горных сосен с длинными пушистыми иголками, но самое главное — он проникал в душу, наполняя её радостью бытия. Хотелось жить. Птичьи трели будили закоулки памяти, пробуждая давно забытые детские воспоминания, будто кто-то таинственный приоткрывал завесу прошлого, и перед глазами блуждали картины безмятежного и такого счастливого неповторимо прекрасного детства. Вековые могучие сосны, раскидистые с широкими стволами тихо покачивались в такт весеннему ветру. Натруженные ноги казака

размеренно ступали по цветастому мху. Не передаваемое ощущение — будто идёшь по мягко выстланному ковру. Аромат хвои кружил голову — всё кончилось, казак возвращался со службы домой. Просадив по пути все гроши, напоследок он потерял и коня. Остановился заночевать в цыганском таборе. То ли усталость смертельная навалилась, то ли опоили его чем, но проснулся казак, а рядом — тлеющие угли костра, ни кошель с остатками грошей, ни армяка, ни бурки из козьей шкуры. Коня его, товарища верного боевого, и того тихой сапой увели. Осталась лишь шашка, в обнимку с которой он заснул, и, видно, никто не решился эту шашку из рук спящего вытащить. Одетый в рубаху-бешмет со стоячим воротником, в просторных штанах, подпоясанный шашкой, в стоптанных гибких кожаных чувяках казак налегке спускался с возвышенности к пологому лесу. За лесом, на хуторе, стоял его отчий дом. Пять лет прошло с тех пор, как старушка-мать обняла его на прощание и благословила в долгий путь. Полдня — не больше — и будет казак дома. И выйдет мать на порог мазанки, всплеснёт руками, заохает, крикнет батьку. И начнётся в доме переполох: перепуганные куры, истошно кудахтая и запинаясь, будут бегать по двору; из погребца тато вытащит любимые сыры и соленья, горилку на перце; мать напечёт блинов со сметаной, всё лучшее — на стол, сыночка

приехал. Казак мечтал. Уже не парубок, он всё ещё оставался сыном своих родителей и хотел обнять мать и отца, и снова почувствовать себя обожаемым долгожданным и самым любимым ребёнком. Никто, как мать, не обнимал его с таким чувством и с такой нежностью. Её сухие морщинистые тёплые очень нежные руки с запахом мелиссы и мяты он помнил всю жизнь, и каждый раз объятие этих рук дарило ему неизгладимое ощущение любви и защищённости. По мере приближения знакомых мест домой тянуло всё сильнее и сильнее. Как долго ждал он этого дня, как томительно тянулось время вдаль от дома. Только с возрастом начинаешь понимать, как много значит отчий дом. Ноги сами несли казака в сторону хутора. Глаза его уже искали знакомый дымок над крышей мазанки. Ан, нет, не видать дыма. Может, уехали куда. За широким поясом походных шароваров казак нащупал лоскут материи — то был льняной платок для матери — подарок. Положи он его за пазуху — украли бы цыгане вместе с армяком. Знал казак: обрадуется мать, суетливо примерит, к сердцу прижмёт, а потом, так ни разу и не надев, спрячет в сундук, будет беречь, доставая тряпицу и с любовью оглядывая её снова и снова.

Последние полчаса казак шёл скорым шагом, не чувствуя под собой ног. Плетёная изгородь,

скособоченная, как-то мрачно и не ласково торчала из разросшегося чертополоха. Никого на пороге. Нет ни дыма, ни квохтания кур, ни лая собак. Казак сглотнул ком в горле, сердце его сжалось, в висках глухо стукнуло, и внутренний голос сухо прошептал: «Беда в доме, беда...»

Распахнув дверь мазанки, казак ворвался в сени. Хата была пуста. Намытые выскобленные до блеска горшки, льняная скатерть с оставленными на ней засохшими крошками хлеба, пустые палати и лавки, и образ Богородицы с погашенной лампадкой. Гробовую тишину нарушало лишь неуместное надоедливое жужжание шмеля. Словно, он один хотел поведать казаку, что случилось в отчем доме. На пороге чуть погодя слышались шаги и шелест длинной женской одежды. Казак поднял голову: в сенях стояла тётка Лукерья. Дородная, круглолицая, статная, она осталась такой же, как и пять лет назад. Это была крестница его матери.

— Явился, касатик! Ох, не дождались тебя мать с отцом! — Лукерья всплеснула руками и, прижавшись к голому затылку казака, обняла его крепко и ласково, но не так, как когда-то мать.

Часть 2. Чужая тайна

Комья плодородной чёрной земли ещё не высохли до конца. У свежей могилы виднелись многочисленные следы ног. Казак сидел подле Лукерьи, на влажной тёплой земле и смотрел отсутствующим взглядом куда-то вдаль. Что он видел теперь? Картины своего детства? Как мать поила его парным молоком из крынки, как он с отцом косил траву, а лошадёнка их тем временем съела весь хлеб. Он вспоминал в своём горестном забытии, как отец учил его плавать, плеск воды, брызги, ощущение страха и счастья одновременно, восторженный визг и новое преодоление себя. Вспоминал казак, как мать приглядывала ему, уже взрослому, невест из соседней деревни, и как он потешался над её выбором. Вспоминал и розги за непослушание от бати, и как из дома в шесть лет ушёл в горы на водопады, а потом его искали всей деревней. Гомон птиц вернул казака к жизни. По его мужественному лицу с оселедцем за левым ухом текли крупные мужские солёные слёзы. Серьга в левом ухе — знак единственного сына в семье — была уже не нужна. Не стало семьи. Кому он теперь сын? По багровому рубцу на щеке казака струились слёзы.

— Ты поплачь, Сава, поплачь — легче будет, — Лукерья терпеливо, ласково, сердечно гладила его по плечу, — со слезами и горе выйдет.

Им хорошо сейчас, там, в другом мире. Мы отпели их в церкви, всё как надо. Ты не беспокойся, Савушка, всё сделали, по-христиански.

Казак вытащил из-за пояса льняной платок, подарок матери, и оставил его на могиле родителей. Начался дождь. Сама природа оплакивала чужую смерть. Комья земли на могиле слиплись, и платок прибило крупными каплями к чёрной комковатой вязкой свежеврытой земле.

И потекла жизнь у казака, день за днём. Тошно было на душе хлопцу. Сначала он не мог спать по ночам. Слышались шорохи, чьи-то шаги, чьё-то тёплое дыхание. В короткие часы забытья чудилось казаку, будто нежные руки, от которых так пахло мелиссой и мятой, снова обнимают его, а мамины губы целуют его лысый затылок. Вскакивая в ночи на полатах, в ответ он видел лишь темноту. Тишина, раздираемая трелями певчих цикад, окутывала дом. Ночь, тёмная, душная и глухая, созерцала человеческое горе, бездонно глубокое, как море, и такое же удушливое, как запах лаванды. Лавандовый аромат навсегда будет связан в памяти казака со смертью родителей.

Первые дни слились для казака в одни слепые одноликие будни. Он не понимал, что ел и что пил,

не слышал ничего происходящего вокруг, не чувствовал холода, не реагировал на боль — все ощущения притупились, расхотелось жить. И та единственная радость встречи сменилась устойчивым осознанием не преодолимого горя, которое началось и не кончалось ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Небритый, опустившийся и равнодушный, казак сидел на пороге хаты. Куда теперь идти, что делать и зачем теперь всё это? Лукерья частенько заглядывала к нему — она единственная, кто искренне любил его семью — журила его за нежелание жить, за уныние, тут же жалела его и плакала вместе с ним.

— Родители твои хоть пожили, Сава. Две-то жизни, сам знаешь, ещё никто не жил, а посмотри на мою судьбу! Что мужа, что ребёночка Бог прибрал — умерли они от тифа. Вот тепериче одна я. Да вот только прибился ко мне мальчонка-беспризорник. Многие семьи у нас, пока тебя-то не было, тиф скошил. Видать, остался один одинёшенек. Вот я его и приютила, и оставила у себя. Этим и живу, дышу. Радость он для меня большая, Сава, смыслом жизни моей стал. Бабе-то, сам знаешь, без дитя — хоть в петлю лезь, и жить не за чем. А ты, Сава, помог бы нам, что ли. Вот, хворосту надо натаскать. Дверь окривела — петли бы подправить. Косу наточить мне надобно, не могу до кузнеца никак дойти. А помнишь, Сава,

какие вы с отцом горшки да кувшины, да крынки лепили! Помнишь ли ремесло своё, Савушка?

И тут казак, словно очнувшись от мучительного, свинцового и гнетущего сна, выпрямился и внятно произнёс:

— Зови своего найдёныша. Как кличут-то его? Пойдём на карьер, привезём глины поболе. Научу его гончарному ремеслу. Негоже в нищете жить. Работать надо. Да и хлопчику твоему наука будет.

Час спустя на обитом обветшалом пороге мазанки тёрся и застенчиво мялся мальчонка лет семи. Рыжий, кудрявый, весь в конопушках, с озорными ярко-синими глазёнками, в рваных штанинах и с босыми грязными исцарапанными ножонками. Рубаха не по возрасту была подпоясана пеньковой верёвкой. Колочки чертополоха гроздьями свисали с рваных штанин.

— Меня Власом кличут. А вы, дядько, Савелием будете? — мальчонка с любопытством разглядывал бывалого казака. Скуластое, красивое лицо воина со шрамом на щеке, точёным прямым профилем и выразительными синими глазами приковывало всё внимание мальчугана. Длинный чёрный чуб на бритой голове, заправленный по привычке за левое ухо, придавал лицу казака суровый воинственный вид. Массивная серебряная

серьга в форме полумесяца свисала уже с правого уха, как знак того, что Савелий — последний мужчина в роду. Казак ласково взглянул на ребёнка. По возрасту он мог бы иметь вот такого сынишку. Мог бы, да только любви взаимной по юности не случилось, затем служба, а после и сватать некому — мать с отцом в сырой земле лежат, вот и весь сказ.

— Иди ко мне, — Савелий протянул мальчонке широкие мозолистые ладони, — ну, рассказывай, как живёшь с тёткой Лукерьей. Давно ль ты у неё? Пойдёшь со мной впотьмах на добычу глины?

Тут конопатый Влас залился таким красноречием, что мальчонку было просто не остановить. Он в подробностях поведал казаку, как попал к тётке Лукерье, как та его приголубила, обогрела, накормила да и оставила жить у себя. Рассказал Влас, как не легко им с тёткой приходится, грошей маловато, а тётка Лукерья всё, что случится заработать, на него, Власа то есть, и тратит. Вот сапоги ему недавно справила на ярмарке, да недолго довелось их носить — малы стали. Казак поймал себя на мысли, что впервые за последние несколько дней улыбнулся, глядя на медноволосого мальчонку. Сколько же счастья в детях, сколько в них жизни, сколько в них Бога! Эти маленькие создания даже не подозревают, что

вся земля и все её сокровища принадлежат им, и мир вращается вокруг них, и нет ничего пленительней и желанней детского смеха!

— Погоди-ка, — казак быстро открыл старый отцовский сундук и вытащил оттуда пару изрядно потрёпанных, но всё же годных вполне мягких кожаных сапог, — на, Влас, примерь-ка. Пойдём в ночь глину искать. Лошади у нас с тобой нет, тачку повезём вручную. Лопаты возьмём да кружку, там рядом родник — и воды испить можно, да и руки вымыть тоже. Грязная это работа — добывать глину с выработки.

— А к чему ночью-то за той самой глиной идти, дядько Савелий? Неужто днём не сподручнее будет? — не унимался рыжий мальчонка.

— А ты, я смотрю, темноты боишься? — широко улыбнулся казак и, взглянув на мальчонку с хитрым прищуром, чуть погодя ответил, — глина, за которой мы пойдём, в темноте светится. Нам с тобой для работы только такая надобна. Наделаем с тобой горшков, кувшинов, крынок разных, чашек, блюд — будем продавать на ярмарке и заживём безбедно. Лошадёнку, глядишь, купим. Плетень подправим, курей заведём поболее. Порося нам надобно своего заиметь.

Жизнь маленькими искорками стала пробуждаться в Савелии. Подправив хромую тачку, казак сложил в неё две лопаты, узелок с пирожками

тётки Лукерьи, старую кружку и отправился с Власом на глиняный карьер. В руках тот и другой — казак и мальчонка — держали по смолянному факелу.

Глиняный карьер начинался сразу за перелеском в сторону гор. Издавна ремесленники по гончарному делу возили оттуда на телегах глину, вязкую, жирную, светло-серо-голубую с примесями, просеивали её через всевозможные сита и лепили домашнюю глиняную утварь. У глины, как и любого другого природного материала, с которым работает мастер, есть душа, только не каждый знает об этом. И прикасаясь к глине, гончар разговаривает с ней. Любое изделие из глины хранит в себе тайну своего края и часть души мастера, его настроение, радости и горести. Глина умеет дышать, созерцать и слушать. И казак, будучи потомственным гончаром в мирное время, знал об этом лучше других.

Миновав небольшой молодой лес, казак с мальчонкой вышли к подножию глиняного карьера. Рядом глухо ухнул сыч. Перепуганная светом дымящихся факелов, птица резко взмыла в воздух, рассекая его сильными массивными крыльями. В не ровном свете факелов не стройными рядами силуэтами маячили подрастающие молоденькие сосны. Лишь луна безразличным холодным ополовиненным ликом смотрела на казака и его

маленького спутника. Цикады пели. Их назойливые трели, больше похожие на монотонный треск, будили ежа под корягой. И не довольный ёж бродил среди мха в поисках позднего ужина.

— Мы с тобой, Влас, сегодня немного глины накопаем, на пробу. Лошадки нет, много и не увезти будет вручную. Возьмём чутка, сделаем замес. А опосля покажу тебе, как из этого бесформенного куска глины сделать крынку, да не просто крынку, а чтобы тётка Лукерья ахнула. Вот как хороша должна выйти крынка! Держи второй факел, посвети-ка мне, — казак отдал мальчишке свой факел и вытащил из тачки лопату.

Ловко орудуя сильными крепкими руками, казак отколол несколько кусков светящейся в темноте вязкой глины и показал её мальчику. Не успел он выгрузить глину в тачку, как из-за кустов послышался животный храп. Казак с мальчонкой инстинктивно вздрогнули. Рыжий Влас истово перекрестился и прильнул к ноге сильного казака.

— Страшно! Страшно-то как, дядько Савелий! Это черти ходят на хуторе, православным спать не дают.

— А, кажись, у этих чертей морда-то...лошади! А, ну, поди сюда поближе! — казак шагнул по направлению к кустам и вывел за уздцы осёдланную лошадь. Лошадь доверчиво опустила морду в ладонь казака и уткнулась в его

плечо своей умной мохнатой мордой, словно, ища у него защиты. На лошади была сбруя восхитительной красоты. Убранством своим эта сбруя могла соперничать с амуницией лошади самого знатного польского шляхтича. Кожаные поводья были украшены серебряными пряжками с бирюзой. Серебряная решма с мраморной бирюзой фигурно крепилась к уздечному налобнику конского снаряжения. Черкесское седло, вдвое легче турецкого и на треть легче европейского, свидетельствовало о длительных поездках седока. Оно не касалось ни позвоночника лошади, ни её холки, не причиняло ей боли. Высокое седло давало полную свободу посадке наездника. Легко скакать на любые расстояния, легко сражаться в таком седле, а при случае перегнуться всем телом под брюхо лошади и поднять на полном карьере всё что угодно с земли. К верху седла была приторочена седельная подушка с остатками проса, ячменя и овса. Очевидно, владелец лошади предпочитал дальние дистанции. Узкие стремяна удлинённой цилиндрической формы говорили о высоком мастерстве наездника. Сама же лошадь была редчайшей серо-пегой масти: на серебристом фоне, словно, кто-то нарочно разбрызгал белоснежные причудливые кляксы. При этом грива и хвост лошади имели угольный, ближе к графитовому, оттенок.

— Вот это красота! — едва переведя дух, восторженно шепнул казак, отирая выступивший пот с худого мужественного лица, — смотри, Влас, как хороша-то! А ты всё — черти, черти... Да такая лошадь разве что во сне присниться может. Да только... стой, факелов как будто не боится. Чудно!

Казак притянул лошадь за уздцы и ласково похлопал её по холке:

— Хороша, чертовка! Да какая же ты красавица! Вот подарок так подарок! А где наездник твой? — спохватился вдруг казак, — видеть по снаряжению, наездник у тебя знатный.

Тут лошадь мотнула головой, натянула поводья и поволокла за собой следом удивлённого казака.

— Возьми факел, Влас! — скомандовал казак, — отдавая себя на откуп воли лошади.

Мальчонка подхватил факел и засеменял вслед казаку, ведомому ряженой кобылой. Обогнув глиняный карьер с другой стороны, лошадь, как вкопанная, остановилась у не большого рва и повесила голову. Ледяная луна своим холодным равнодушным светом окинула неровности рва и замерла перед не подвижной человеческой фигурой.

— Мать Божия! Влас, давай сюда факел! — казак судорожно выхватил факел из рук мальчика и вскрикнул: во рву лежало тело очень красивого человека средних лет. По виду купец, а, судя по

снаряжению лошади, — воин, скорее и то, и другое, мужчина лежал в не естественной позе, словно, кто-то заманил его в ров и коварно умертвил. Влас вскрикнул, вздрогнул всем телом и обнял за ноги казака.

— Вернёмся на утро, похороним по-людски, — потухшим голосом произнёс казак, — тётке Лукерье ни слова. И без того на её бабьем веку горя много. Не надобно ей знать этого.

Отдав мальчику поводья и факел, казак подхватил тачку с глиной, и они, не спеша, отправились обратно на хутор. Застелив широкую лавку старыми лоскутными одеялами, казак уложил мальчонку спать, зажёл лампадку под образом, помолился на ночь и пошёл распрягать лошадь. Лошадь, смирная и понурая, стояла у входа в мазанку. Запах человеческого жилища и добрая воля казака немного приободрили её. Она не роптала, но вид её напоминал человека, потерявшего родное существо. В темноте освободив лошадь от амуниции, казак напоил её, насыпал в ясли овса и протёр лоснящуюся спину старой холщовой рубахой.

— Утром свидимся, поговорим, а теперь — отдыхай, да и я спать пойду. Сорванец мой, поди-ка, уже девятый сон видит, — уговаривал казак лошадь, с огромной нежностью похлопывая её по холке, — отдыхай, родная, связал нас с тобой

Господь, будешь у меня теперь жить.

Утро следующего дня встретило казака и его рыжего мальчугана холодными каплями росы и ослепительно ярким, завораживающим солнечным светом. Воздух, напоённый влагой, звал прочь из хаты. Весенний ветер обрывал бельё на верёвках. Птицы вели свою нескончаемую и такую трогательную перекличку, что хотелось закрыть глаза, прислушаться и с головой погрузиться в состояние пробуждения природы. Это был первый день после возвращения домой казака, когда утро начиналось с желания жить, было наполнено планами и идеями. Появилась цель в жизни — помочь Лукерье поставить на ноги рыжеволосого Власа. Сразу как-то вдруг оказалось, что у казака здесь масса неотложных дел, и везде он нужен, всё должен успеть.

Маленький Влас, вскочив с постели, опрометью бросился проводить лошадь. Их ночная мохноногая подруга фарфорового окраса не давала покоя воображению мальчика. Её тоже нашли и приютили здесь так же случайно, как и его самого. Какая она, эта лошадь? Что она умеет, что может? А какая чудная у неё амуниция, откуда она, и что за тайну унёс с собой не счастливый красавец-ездок, её прежний хозяин? Мальчишка в одной холщовой рубашке на голое тело выбежал во двор и застал там казака, ласково осматривающего

их ночную находку. Савелий был очень серьёзен. Развернувшись всем телом в сторону мальчика, казак тихо произнёс:

— А знаешь, Влас, лошадь-то не зряча. Слепая она. Не реагирует она на свет, разве что только на мои прикосновения. И причину слепоты не пойму никак. Ни ожога, ни повреждения глаз и век нет. Удар по голове? Никаких следов от удара не видно. И чувствуется, что на ней ездили совсем недавно.

— Что делать будем, дядько Савелий? — жалобным голоском тихо произнёс маленький Влас, — неужели мы её...

Казак не дал мальчику договорить и резко оборвал его:

— Нет. Она будет жить у нас. Мы не бросим её. И в хозяйстве применение найдём, вот увидишь. Посуды глиняной налепим, обожжём, распишем и поедем с ней на ярмарку. Она возок потянет, а я её под уздцы поведу. То-то она факелов вчера не испугалась. Слепая она, а как жаль! Чья же ты, чужая не разгаданная тайна? Что случилось с тобой в нашем краю, и кем был твой хозяин?

Маленький Влас нежно прижался щекой к морде лошади и, не переставая гладить животное, приговаривал:

— Не бойся. Ты с нами теперь. Дядько Савелий тебя в обиду не даст...

Часть 3. Первое появление чаклуна

Казак долго размышлял, стоило ли брать с собой Власа. Мал ещё, негоже хлопчику такое видеть. Жизнь и так потрепала мальчонку, и лишние боль и переживания совсем ни к чему. Но с другой стороны казак наемни обмолвился при Власе «мы», «мы вернёмся, мы похороним», а теперь, вроде как, хочет мальчишку со счетов сбросить. А мальчонка принял его как родного. «Ладно, пусть учится видеть жизнь такой, какая она есть. Он уже столько испытал, пока был беспризорником, что глупо окружать его розовыми облаками да байками», — решил про себя Савелий, не будучи до конца уверенным в своей правоте.

Лошадь покорно везла телегу с мальчиком и лопатами в сторону глиняного карьера. Тётке Лукерье сказали, что поехали добрать ещё глины, что, мол, теперь с лошадью сподручнее и увезти можно много больше. Казак вёл лошадь под уздцы, ласково переговариваясь то с мальчонкой, то с лошадью. Надо же, нежданно-негаданно, а вот она и новая его семья. Два родных отныне существа, которые жмутся к нему, ищут его тепла, внимания, заботы, ласки, и он, Савелий, в ответе и за того, и за другого. Эти трое, так нужные друг другу, медленно шли в лучах весеннего такого счастливого и нарядного утра, что даже мысль о